

ПУШКИНЪ ВЪ РУССКОЙ КРИТИКѢ.



# ПУШКИНЪ ВЪ РУССКОЙ КРИТИКЪ

Р Ъ Ч Ъ

ПРОИЗНЕСЕННАЯ НА АКТЪ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

8 ФЕВРАЛЯ 1887 ГОДА

ПРИВАТЪ-ДОЦЕНТОМЪ

П. Р. МОРОЗОВЫМЪ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія А. М. Вольфа, Большая Итальянская. д. 2.

1887.

Печатано по опредѣленію Совѣта, С.-Петербургскаго Университета.

Отдѣльные оттиски «Годичнаго акта Имп. СПб. Университета» за 1886 г.

# ПУШКИНЪ ВЪ РУССКОЙ КРИТИКѢ

РѢЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ НА АКТѢ

**С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА**

8 ФЕВРАЛЯ 1887 ГОДА

ПРИВ.-ДОЦЕНТОМЪ П. О. МОРОЗОВЫМЪ.

---

Полвѣка уже минуло со дня кончины Пушкина. Съ тѣхъ поръ и до настоящаго времени въ нашей литературѣ было высказано о немъ, именно какъ о поэтѣ, столько самыхъ разнообразныхъ сужденій, что теперь къ его характеристикѣ въ этомъ отношеніи едва ли уже можно прибавить что нибудь существенно новое: эстетическіе вопросы, вызванные его литературною дѣятельностью, болѣе или менѣе уже исчерпаны. Но для историка литературы, при анализѣ дѣятельности всякаго писателя, а въ особенности—писателя первой величины, какимъ былъ Пушкинъ, представляется, наряду съ выясненіемъ художественныхъ его достоинствъ, еще другая, чрезвычайно важная задача—указать живую связь писателя съ его современностью, съ окружающими его людьми, съ органическимъ развитіемъ литературы. Только такое изученіе можетъ привести къ правильной оцѣнкѣ заслугъ писателя предъ современниками и потомствомъ, къ вѣрному опредѣленію мѣста, какое долженъ онъ занимать въ исторіи духовнаго и общественнаго развитія своей родины. Въ этомъ именно отношеніи изученіе дѣятельности Пушкина представляется далеко еще не законченнымъ и даже, можно сказать, только что начатымъ. Я позволю себѣ, Милостивые Государи, въ краткомъ очеркѣ указать важнѣйшіе факты, характеризующіе отношенія русской критики къ Пушкину,—какъ при жизни поэта, такъ и въ теченіе 50-ти лѣтъ, отдѣляющихъ наше время отъ его кончины.

«Солнце нашей поэзіи закатилось! Пушкинъ скончался, скончался во цвѣтѣ лѣтъ, въ срединѣ своего великаго поприща!... Болѣе говорить о семъ не имѣемъ силы, да и не нужно: всякое русское сердце знаетъ всю цѣну этой невозвратимой потери и всякое русское сердце будетъ растерзано. Пушкинъ! нашъ поэтъ! наша радость, наша народная слава! Неужели въ самомъ дѣлѣ нѣтъ уже у насъ Пушкина? Къ этой мысли нельзя привыкнуть!»..

Въ этихъ немногихъ строчкахъ, окруженныхъ траурною рамкою, разнеслась по Россіи, полвѣка тому назадъ, скорбная вѣсть о кончинѣ величайшаго русскаго поэта. Не стало Пушкина,—не стало человѣка, имя котораго въ продолженіе столькихъ лѣтъ служило для всѣхъ его современниковъ символомъ всего высокаго, добраго, прекраснаго,—не стало писателя, бывшаго могучимъ властителемъ думъ своего поколѣнія. Внезапно, для всѣхъ неожиданно, прервалась его блестящая дѣятельность, навсегда замолкли звуки дивныхъ пѣсень... Всѣ, кому были дороги интересы родного просвѣщенія и литературы,—всѣ словно громомъ были поражены страшною вѣстью объ этой незамѣнимой утратѣ. Во дни предсмертныхъ страданій поэта, къ его жилищу стекались огромныя толпы «людей всякаго званія», тревожно ожидая извѣстій, которыя хоть нѣсколько могли бы оживить исчезавшую надежду; среди этихъ людей слышался голосъ живого участія, горячей привязанности, неподдѣльнаго негодованія,—и наконецъ, когда смерть погасила послѣднія искры надежды, во всей грамотной Россіи отозвался вопль ужаса и скорби, съ такою могучею силою вылившейся въ «железномъ» стихѣ Лермонтова....

Въ литературѣ, на первыхъ порахъ, общее сочувствіе къ слову молодого и смѣлаго обличителя мелькнуло, однако, лишь едва замѣтною тѣнью. Обстоятельства, разбившія незамѣнимую для Россіи жизнь поэта, были скрыты непроницаемою тайною, которая и до настоящаго времени остается еще не вполне разъясненною. Немногочисленные, но сильные люди, которые при жизни Пушкина «такъ долго гнали его свободный, чудный даръ», не прекратили гоненія даже и тогда, когда смерть наложила свою печать на его вѣщія уста. Одни изъ нихъ высказывали очень недвусмысленное «удивленіе» по поводу того, что Пушкина не въ мѣру возвеличиваютъ, и замѣчали, что «писать стишки—не значить еще проходить великое поприще»; другіе, перенося тѣ же приемы въ литературу, ревностно старались увѣрить публику, что Пушкинъ былъ не болѣе какъ посредственный сти-

хотворецъ, захваленный «пріятелями», а въ сущности—отодвинувшій русскую поэзію по крайней мѣрѣ на четыре десятка лѣтъ назадъ; что его произведенія представляютъ идеализацію разврата и всевозможныхъ уголовныхъ преступленій, и т. д. Эта дикая тризна какъ нельзя болѣе оправдывала выраженіе Пушкина, назвавшего свое время «жестокимъ вѣкомъ»...

Лучшая часть нашей печати считала, конечно, неумѣстнымъ возражать на эти злобныя выходки, но и свое слово о Пушкинѣ сказала не скоро и не сразу. Появленіе посмертнаго изданія сочиненій Пушкина,—изданія, которое было совершенно недостойно памяти великаго поэта, но заключало въ себѣ нѣсколько его произведеній, до того времени неизвѣстныхъ, вызвало у Бѣлинскаго горькое восклицаніе: «Пушкинъ, Пушкинъ! Великій! неужели безвременная смерть твоя непременно нужна была для того, чтобы мы разгадали, кто ты?»

Въ этихъ словахъ была большая доля правды. Да, современная Пушкину критика дѣйствительно не въ состояніи была разгадать его при его жизни, такъ что поэтъ имѣлъ право высказывать о ней невысокое мнѣніе и не обращать серьезнаго вниманія на ея мелкія нападки. Въ началѣ его дѣятельности, въ 20-хъ годахъ, представители стариннаго псевдо-классицизма, эти строгіе литературные формалисты, ополчались на поэта за то, что онъ сразу и такъ рѣшительно отказался отъ преданій школьной піитики; они видѣли въ немъ главу новаго литературнаго направленія,—главу романтизма, отрицающаго всякія литературныя традиции, который казался имъ порожденіемъ нечестиваго духа. Нежеланіе подчинять свое вдохновеніе правиламъ унаслѣдованной отъ XVII вѣка «науки стихотворства» было въ глазахъ этихъ критиковъ едва ли не равносильно отрицанію всякихъ правилъ общественнаго порядка, слѣдовательно — полной нравственной распущенности. Упорно оставаясь въ тѣсномъ кругу отжившихъ теорій, критика 20-хъ годовъ, закоснѣлая въ сухомъ школьномъ педантизмѣ, продолжала твердить литературныя зады, и послѣдовательно договаривалась до положеній самыхъ комическихкихъ. Дальше чисто-формальной, виѣшней точки зрѣнія она не хотѣла ничего видѣть, да и не могла ничего разглядѣть, и молодыя литературныя силы, сплотившіяся вокругъ Пушкина, только напрасно тратили свое остроуміе въ полемикѣ въ защиту новаго направленія, въ защиту свободы поэтическаго творчества. Высокое художественное значеніе поэзіи Пушкина оставалось непо-

нятымъ и неоцѣненнымъ, и поэтъ былъ совершенно правъ, говоря, что «у насъ критика не имѣетъ никакой самостоятельности и почти никакого вліянія на судьбу литературныхъ произведеній.» Въ самомъ дѣлѣ, читатели того времени въ отношеніи къ литературѣ стояли далеко впереди критики и своимъ непосредственнымъ чутьемъ умѣли цѣнить выдающіяся произведенія гораздо вѣрнѣе своихъ журнальныхъ руководителей. Всякое новое произведение Пушкина было для нихъ своего рода литературнымъ откровеніемъ, читалось на расхватъ, съ жадностью, о которой мы, избалованные цѣнители изящнаго слова, не можемъ теперь судить даже и приблизительно, — всѣми заучивалось наизусть, переписывалось въ сотняхъ и тысячахъ списковъ и расходилось по всѣмъ уголкамъ грамотной Россіи. Пушкинъ былъ дѣйствительно солнцемъ поэзіи, все освѣщающимъ и все согрѣвающимъ своими животворными лучами, — и, конечно, мелкія журнальныя нападки нисколько не омрачали его свѣта.

Позднѣе, въ 30-хъ годахъ, когда Пушкинъ выступилъ уже во всей силѣ и зрѣлости своего генія, когда онъ явился, во главѣ цѣлой плеяды молодыхъ писателей, творцомъ нашей новой литературы и когда остатки отжившихъ теорій были уже совершенно упразднены, — наша критика опять оказалась далеко позади литературнаго развитія, и долго не могла догнать его. Какъ на характерную особенность литературныхъ сужденій этого времени, Пушкинъ указываетъ на отсутствіе общихъ, руководящихъ началъ и на бездоказательность: «Критики наши говорятъ обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно; а это дурно, потому что скверно. Отселѣ ихъ никакъ не выманишь» (V, 112). Даже наиболѣе серьезный и талантливый представитель нашей критики, Бѣлинскій, далеко не сразу могъ найти подходящую мѣрку для оцѣнки литературныхъ явленій такой необыкновенной силы и значительности, каковы были произведенія Пушкина. Отзывы Бѣлинскаго о Пушкинѣ 30-хъ годовъ подтверждаютъ его позднѣйшее сознаніе, что при жизни поэта многія стороны его дѣятельности оставались неразгаданными: эти отзывы не свободны отъ противорѣчій, а иногда и прямо неосновательны. Другіе представители критики 30-хъ годовъ обнаруживали — за очень немногими исключеніями — уже полное непониманіе или даже *нежеланіе* понимать Пушкина, вдобавокъ, часто приправленное лично-непріязненнымъ отношеніемъ къ поэту, такъ что рѣзкіе эпитеты, которыми Пушкинъ иногда, мимоходомъ, характеризуетъ своихъ литературныхъ цѣнителей, не



были плодомъ одной только раздражительной обидчивости... Только одинъ Гоголь, еще при жизни поэта, въ 1832 году, смѣло и патетически привѣтствовалъ въ лицѣ Пушкина «чрезвычайное и можетъ быть единственное явленіе русскаго духа».

Эти восторженные слова Гоголя пришли на память нашей критикѣ только по смерти Пушкина, когда всѣ стали внимательнѣе вдумываться въ его безвременно прерванную дѣятельность; только въ 1839 году въ нашей печати было прямо заявлено, что въ лицѣ Пушкина мы имѣемъ поэта «не одной какой-нибудь эпохи, а цѣлаго человѣчества, не одной какой-нибудь страны, а цѣлаго міра», — поэта, который «не убоился низойти въ самые сокровенные тайники русской души, изслѣдилъ ее и побѣдоносно вышелъ изъ нея и извлекъ съ собою на свѣтъ все затаенное, все великое, крившееся въ ней. Какъ народъ Россіи не ниже ни одного народа въ мірѣ, такъ и Пушкинъ не ниже ни одного поэта въ мірѣ». (Отеч. Зап. 1839, III, 1—36).

Эти слова, представляющія развитіе мысли Гоголя, служили вступленіемъ къ переводу статьи нѣмецкаго критика, Фарнгагена фонъ-Энзе, который—надо въ этомъ сознаться — сумѣлъ гораздо глубже понять и гораздо вѣрнѣе оцѣнить Пушкина, чѣмъ современная поэту русская критика, не исключая и самого Бѣлинскаго, и даже въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ явился защитникомъ Пушкина отъ мелочныхъ нападокъ русскихъ журналовъ. Фарнгагенъ ф.-Энзе, нѣмецъ, не усомнился пойти вслѣдъ за Гоголемъ,—поставить нашего поэта наряду съ величайшими представителями европейской поэзіи и признать въ немъ «выраженіе всей полноты русской жизни и потому поэта національнаго въ высшемъ смыслѣ этого слова». Русская критика—и при жизни Пушкина, и послѣ его смерти—не отваживалась или, вѣрнѣе, не видѣла еще возможности произнести о немъ такое сужденіе.

Со дня смерти поэта прошло уже болѣе семи лѣтъ, когда Бѣлинскій снова напомнилъ слова Гоголя и указалъ на великую заслугу Пушкина, какъ нашего національнаго выразителя въ искусствѣ.

Въ длинномъ рядѣ статей, писавшихся долго и съ увлеченіемъ, Бѣлинскій подвергъ подробному анализу всю поэтическую дѣятельность Пушкина и пришелъ къ заключеніямъ, которыя долго держались въ нашей литературѣ, какъ послѣднее слово критики о поэтѣ, да и до сихъ поръ въ основѣ своей остаются вѣрными, не смотря на ихъ односторонность. По словамъ Бѣлинскаго, «Пуш-

кинъ былъ по преимуществу *поэтъ-художникъ*, и больше ничѣмъ не могъ быть по своей натурѣ. Онъ далъ намъ поэзію, какъ искусство, какъ художество, и потому онъ навсегда останется великимъ, образцовымъ мастеромъ поэзіи, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзіи принадлежитъ ея способность развивать въ людяхъ *чувство изящнаго* и *чувство гуманности*, разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка... Придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство...»

Бѣлинскій, въ то время, когда писалъ онъ свои статьи о Пушкинѣ, не могъ смотрѣть на поэта иначе, какъ исключительно съ точки зрѣнія чистой поэзіи, чистаго искусства; поэтому приговоръ его по необходимости былъ одностороннимъ въ принципѣ. Другая сторона поэзіи, болѣе близкая къ дѣйствительной жизни, — тотъ высокій нравственный идеалъ, который видѣлъ Пушкинъ въ дѣятельности поэта, какъ гражданина и пророка, избраннаго небомъ, чтобы своимъ «глаголомъ жечь сердца людей», то великое значеніе, какое имѣлъ онъ въ исторіи нашего общественнаго развитія, какъ одинъ изъ передовыхъ борцовъ за лучшія мысли своего времени, — если и было понято критикомъ, то, во всякомъ случаѣ, указано лишь вскользь, слабымъ намекомъ, въ признаніи Пушкина воспитателемъ не только эстетическаго, но и *нравственнаго* чувства въ русскомъ обществѣ. Эта неполнота въ характеристикѣ Пушкина не могла не отозваться впоследствии неблагоприятно для поэта.

Мнѣніе Бѣлинскаго дало тонъ дальнѣйшимъ сужденіямъ нашей критики о Пушкинѣ и повторялось, съ незначительными измѣненіями, всякій разъ, какъ только заходила рѣчь о томъ, чтобы опредѣлить мѣсто и значеніе поэта въ нашей литературѣ. Можно было бы указать на цѣлый рядъ статей, которыя, въ сущности, представляютъ лишь распространеніе мыслей знаменитаго критика, и притомъ—распространеніе именно въ сторону эстетическую, между тѣмъ какъ другая сторона—нравственная и общественная—почти совершенно ступшеывалась, или даже прямо оставлялась безъ вниманія. Произведенія чистаго искусства, какъ извѣстно, могутъ быть разсматриваемы совершенно отвлеченно, внѣ всякихъ условій мѣста и времени, потому что это—произведенія вѣчныя и общечеловѣческія; съ этой именно точки зрѣнія—чисто-художественной и

нисколько не исторической — преимущественно, если не исключительно, смотрѣла на Пушкина русская критика 50-хъ и начала 60-хъ годовъ. Со смерти поэта прошло уже 18 лѣтъ, когда появилось первое изданіе его сочиненій, достойное его имени, — изданіе г. Анненкова. Оно удовлетворяло всеобщей, давнишней потребности и было встрѣчено съ восторгомъ и признательностью; но въ вызванныхъ имъ сужденіяхъ критики о поэтѣ, все-таки, на первомъ планѣ стояла только художественная сторона дѣятельности Пушкина, великое *эстетическое* значеніе его произведеній. Вопросъ о томъ, какія новыя понятія и стремленія вносились этими произведеніями въ русскую жизнь, въ общественное сознаніе, — какія именно «добрыя» чувства пробуждалъ поэтъ своею лирою, — этотъ вопросъ оставался почти незатронутымъ. Одинъ изъ даровитѣйшихъ представителей тогдашней критики, Аполлонъ Григорьевъ, въ концѣ концовъ, пришелъ къ заключенію, что такое поклоненіе поэту, какъ жрецу чистаго искусства, при всемъ восторгѣ поклонниковъ, «лишаетъ поэта его великой личности, его пламенныхъ, но обманутыхъ жизнью сочувствій, его высокаго общественнаго значенія, и низводитъ его на степень кимвала звенящаго и мѣди бряцающей, громкаго и равнодушнаго эха, сладко-поющей птицы» (I, 238). Сознавая всю несостоятельность односторонняго эстетическаго взгляда, Аполлонъ Григорьевъ старался ему противодѣйствовать: въ отпоръ мнѣнію, будто Пушкинъ усвоилъ только *форму* русской народности, но не *духъ* ея, онъ горячо отстаивалъ другое положеніе, — что Пушкинъ, — «наше *все*», что онъ является первымъ и полнымъ представителемъ нашей народной физиономіи въ мірѣ всѣхъ нашихъ сочувствій, — не только художественныхъ, но и общественныхъ и нравственныхъ.

Идя вообще по слѣдамъ Бѣлинскаго, Григорьевъ обратилъ особенное, преимущественное вниманіе на ту сторону сужденій своего предшественника о Пушкинѣ, которая дальнѣйшею критикою была оставлена въ тѣни, — именно на признаніе въ поэзіи Пушкина высоко-поучительнаго *нравственнаго* элемента.

Развивая и во многомъ существенно дополняя взгляды Бѣлинскаго, Ап. Григорьевъ впервые въ нашей критикѣ категорически указалъ, что «всѣ истинныя, правдивыя стремленія современной русской литературы находятся въ духовномъ родствѣ съ пушкинскими стремленіями, отъ нихъ по прямой линіи ведутъ свое начало». Здѣсь критикъ разумѣлъ, прежде всего и болѣе всего, стремленіе нашей новой литературы къ жизненной, реальной

правдѣ и къ народности, составляющее ея основную задачу и ея могучую движущую силу.

Но Аполлонъ Григорьевъ успѣлъ высказать свое мнѣніе о Пушкинѣ только въ общихъ чертахъ, и не развилъ его съ тою полнотою и систематическою опредѣленностью, какія были необходимы для того, чтобы упрочить этотъ новый взглядъ въ нашемъ литературномъ сознаниі, — и его голосъ остался въ его время одинокимъ голосомъ вопіющаго въ пустыни... Передовая критика 60-хъ годовъ, не давая себѣ труда пересмотрѣть и провѣрить приговоръ Бѣлинскаго, не видѣла въ Пушкинѣ ничего, кромѣ поэта-художника, и дѣйствительно низводила его на степень «сладко-поющей птицы». Вопросы о его народности, о его общественномъ значеніи рѣшались отрицательно; связь его поэзіи съ жизнью настоящаго времени, ея пригодность и поучительность для новыхъ поколѣній казались очень сомнительными. Въ ту пору общаго, напряженнаго оживленія, горячаго увлеченія злобою дня, когда коренныя реформы существенно измѣняли прежній складъ нашей жизни, когда и литература получила небывалый до того времени, широкій просторъ, — въ такую пору естественнымъ, логическимъ выводомъ изъ приговора Бѣлинскаго было отрицательное отношеніе критики къ Пушкину. Многіе, по старой памяти, все еще видѣли въ немъ исключительно художника, чуждаго дѣйствительной жизни съ ея радостями и горемъ, поэта-созерцателя, который съ заоблачныхъ высотъ своего творчества равнодушно и презрительно смотритъ на окружающую его толпу, не дорожа народною любовью... Въ Пушкинѣ не замѣчали — и, можетъ быть, даже *не хотѣли* замѣтить — другихъ сторонъ, кромѣ этого высокомернаго отношенія къ злобѣ дня, кромѣ аристократическаго презрѣнія къ «черни», которая требуетъ отъ поэта смѣлыхъ уроковъ — и въ отвѣтъ получаетъ лишь суровую отвѣдь:

Подите прочь! Какое дѣло  
Поэту мирному до васъ?...

Въ этихъ словахъ Пушкина, принятыхъ какъ выраженіе его поэтическаго міросозерцанія, заключается исходный пунктъ отрицательнаго отношенія къ нему нашей критики 60-хъ годовъ; критика слишкомъ преувеличивала значеніе злобы дня и оттого, сама не замѣчая этого, впадала въ крайности утилитаризма.

И вотъ, посреди общаго развѣнчиванья старыхъ боговъ, посреди торопливаго низверженія кумировъ, которымъ еще недавно

всѣ поклонялись, на долю Пушкина выпадаетъ безпощадное гоненіе; у него, какъ и вообще у всей области искусства, представителемъ котораго онъ былъ, отрицательная критика старается отнять всякое значеніе для современности; его имя вызываетъ даже враждебныя чувства, лучшія созданія его музы подвергаются жестокому глумленію... Повторяется нѣчто подобное тому, что мы уже видѣли во враждебномъ поэту лагерѣ въ первое время послѣ его смерти....

Конечно, сущность этого новаго отрицательнаго взгляда на Пушкина была уже совершенно иная, чѣмъ полвѣка тому назадъ. Тамъ это было полное отрицаніе литературы вообще, какъ органа общественнаго самосознанія; здѣсь разрушительные удары критики направлялись въ лицѣ Пушкина на всю ту эпоху нашей общественной жизни, въ которой онъ жилъ и дѣйствовалъ. Вина Пушкина заключалась болѣе всего въ томъ, что въ продолженіе этой эпохи онъ стоялъ въ первомъ ряду нашей литературы, что его имя считалось какъ-бы символомъ цѣлой полосы нашего развитія; оттого на его долю и выпало наибольшее количество ударовъ. Отрицаніе было жестоко, несправедливо, и, конечно не могло остаться въ литературѣ надолго. Но брошенное имъ сѣмя сомнѣнія, все-таки, принесло свой плодъ: весьма многіе обращались къ Пушкину уже неохотно, считали его уже отжившимъ свое время, архивнымъ поэтомъ и въ лучшемъ случаѣ не безъ нѣкоторой снисходительности повторяли все тѣ-же одностороннія сужденія Бѣлинскаго, которыя косвенно послужили поводомъ къ нападкамъ на поэта за его будто-бы исключительно художественное, отвлеченное міросозерцаніе...

Между тѣмъ, время все болѣе и болѣе отдаляло живущее поколѣніе отъ Пушкина и его эпохи; историческое изученіе вступало въ свои права и начинало уже указывать на необходимость пересмотра и провѣрки прежнихъ сужденій. Съ другой стороны, высокій интересъ къ поэзіи Пушкина, лишь временно заглушенный тревогами дня, но въ лучшей части общества никогда не исчезающій, проявлялся съ болѣею силою, чѣмъ прежде. Живая душа русскаго общества все сильнѣе и сильнѣе чувствовала потребность обратиться къ оставленному поэту, все яснѣе и яснѣе сознавала свое духовное съ нимъ родство и убѣждалась, что истинно-прекрасное никогда не находится въ противорѣчій ни съ высшимъ благомъ, ни съ высшею правдою. Сердце Россіи, по прекрасному выраженію Тютчева, не забыло Пушкина, какъ свою

«первую любовь»; поэтъ, называвшій свою музу, въ противоположность «богинѣ тихихъ пѣснопѣній» Пушкина, «музой мести и печали», на склонѣ своей дѣятельности явился выразителемъ этой сердечной потребности общества:

Прости слѣпцамъ, художникъ вдохновенный.  
И возвратись!.. священный факель свой,  
Погашенный рукою дерзновенной,  
Вновь засвѣти надъ гибнущей толпой!  
Вооружись небесными громами,  
Нашъ падшій духъ взнеси на высоту,  
Чтобъ человекъ не мертвыми очами  
Могъ созерцать добро и красоту!..

Какъ бы въ отвѣтъ на этотъ вдохновенный призывъ, мы были, наконецъ, свидѣтелями величаваго проявленія національнаго чувства къ Пушкину, какъ къ великому народному поэту, какъ къ одному изъ главныхъ представителей нашей національной мысли. Солнце поэзіи снова засіяло надъ нами, прогоняя послѣднія тучи разсѣянной бури, послѣдніе слѣды печальныхъ заблужденій,—и снова озарило насъ своимъ немеркнущимъ свѣтомъ.

Открытие памятника поэту было торжественнымъ, всенароднымъ признаніемъ его заслугъ, возведеніемъ его на ту высоту, на которой онъ долженъ стоять, какъ наша національная гордость и слава и какъ поэтъ всемірный. Всѣ мы помнимъ и надолго сохранимъ воспоминаніе объ этомъ свѣтломъ праздникѣ русской мысли, объ этомъ яркомъ свидѣтельствѣ, что наше общество высоко цѣнитъ умственные интересы и умѣетъ свято чтить память своихъ руководителей на пути къ истинѣ, добру и вѣчной красотѣ.

Съ этого времени и въ отношеніяхъ нашей критики къ Пушкину начинается рѣшительный поворотъ. Прежнія эстетическія воззрѣнія смѣняются болѣе широкимъ и внимательнымъ изученіемъ историко-литературнымъ. Односторонній взглядъ на поэта въ прежніе годы въ нѣкоторой степени оправдывался тѣмъ, что почва для такого историческаго изученія Пушкина и его произведеній была еще вовсе не подготовлена, и потому критика не имѣла возможности подойти къ поэту ближе, заглянуть поглубже въ его душу, изучить его во всей полнотѣ и цѣлости его идей и произведеній. *Исторія* для Пушкина и его времени еще не наступила въ ту пору; она наступаетъ только теперь, въ третьемъ поколѣніи, когда изъ нашихъ дѣдовъ, сверстниковъ Пушкина, оста-

ются въ живыхъ уже очень немногіе. И на произведеніяхъ Пушкина и на его біографіи было наложено много чуждыхъ красокъ, много незаконныхъ рисунковъ, которые только теперь «спадаютъ ветхой чешуей,» — и величавый образъ поэта, съ его задушевными идеалами и стремленіями, съ его высокими нравственными завѣтами литературѣ и обществу, среди котораго онъ жилъ, мыслилъ и страдалъ, возстаетъ передъ нами, уже не затемненный прежними фальшивыми представленіями. И чѣмъ ближе, чѣмъ внимательнѣе будемъ мы присматриваться къ этому образу, тѣмъ чище и свѣтлѣе предстанетъ онъ намъ, тѣмъ выше и дороже будетъ для насъ вѣчная память Пушкина, и какъ величайшаго изъ художниковъ родного слова, и какъ благороднаго общественнаго дѣятеля, который въ свой жестокой вѣкъ явился вдохновеннымъ выразителемъ стремленій русскаго общества къ просвѣщенію и свободѣ. Историческій путь, пройденный нами въ теченіе полувѣка, отдѣляющаго наше время отъ Пушкина, во многомъ осуществилъ завѣтныя мечты нашихъ дѣдовъ, и если бы Пушкину было суждено прожить долѣе, то онъ увидѣлъ бы, какъ оправдывались его лучшія надежды. Но, не смотря на то, пушкинская эпоха далеко еще не вполне отошла въ область историческаго преданія, и Пушкинъ, какъ дѣятель общественный, во многихъ отношеніяхъ все еще представляется намъ живымъ нашимъ современникомъ. Какъ высокой нравственный идеалъ, онъ завѣщалъ намъ неуклонное стремленіе впередъ на поприщѣ ума, къ добру и правдѣ, и свѣтлую вѣру въ будущее, которая не покидала его въ самыя тяжелыя минуты его жизни. Руководящимъ началомъ всей его дѣятельности было сознаніе высокаго нравственнаго долга литературы, какъ силы образовательной. «Дружина ученыхъ и писателей, говорилъ онъ, стоитъ всегда впереди во всѣхъ набогахъ просвѣщенія, на всѣхъ приступахъ образованности. Не должно имъ малодушно негодовать, что вѣчно имъ опредѣлено выносить первые выстрѣлы и всѣ невзгоды, всѣ опасности ремесла». Принимая этотъ драгоцѣнный завѣтъ, мы твердо вѣримъ, что теперь, когда созданія поэта становятся уже *всенароднымъ* достояніемъ, — его высокіе идеалы будутъ все болѣе и болѣе усвоиваться нашей литературой и обществомъ и дадутъ намъ ту силу и бодрость духа, съ какою самъ поэтъ, въ свое время, смогрѣлъ на будущее, — безъ боязни, въ надеждѣ славы и добра!